

Возвращение Нижнего Новгорода: время перестройки / перестройка времени¹

ИГОРЬ
КОБЫЛИН

В книге «Язык, память, образ» Борис Гаспаров упоминает о посещении им Нижнего Новгорода летом 1993 года. Гаспаров пишет, что его внимание привлекло кафе под названием «Лыкова Дамба».

«Мне объяснили, что название это историческое – оно соответствует названию заведения, стоявшего здесь до революции. Название удачно проецировало немножко туманный по смыслу, но отчетливый по своей стилистической окрашенности, престопадно-провинциальный “купеческий” образ; в нем слышались и вызов по отношению к стилистике советских названий, с их бюрократической литературностью, и утверждение местного, народного, почвенного стиля. Я не сразу мог запомнить экзотическое название кафе и тогда в шутку решил его окрестить – “Глокая куздра”»².



- 1** Расширенная версия данного текста входит в книгу «800 лет Нижнего Новгорода: пересборка. Истории города и его людей», которая публикуется в издательстве «TATLIN». Книга подготовлена – при поддержке правительства Нижегородской области – по инициативе «Центра 800», который занимается организацией праздничных мероприятий к 800-летию Нижнего Новгорода.
- 2** ГАСПАРОВ Б. *Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования*. М.: Новое литературное обозрение, 1996. С. 74.

**ПОЛИТИКА
(УРБАНИСТИЧЕСКОЙ)
КУЛЬТУРЫ**

Игорь Игоревич Кобылин (р. 1973) – доцент кафедры социально-гуманитарных наук Приволжского исследовательского медицинского университета, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории историко-культурных исследований Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС, редактор журнала «Неприкосновенный запас».

Этот эпизод призван проиллюстрировать один из лингвистических сюжетов книги, а именно то, как мы осмысляем и используем неизвестные нам словоформы, вроде упомянутой выше «глокой куздры», придуманной Львом Щербой. Тезис Гаспарова состоит в том, что здесь важны не столько формальные грамматические модели, сколько конкретная тематическая и жанровая среда загадочной формы, среда, которая вызывает не менее конкретную цепочку ассоциаций и «аналогических соположений», помогающих с этой загадочностью справиться³. Однако я привел здесь эту историю вовсе не для того, чтобы анализировать лингвистические проблемы сами по себе. Мне кажется, что рассуждение Гаспарова о «Лыковой Дамбе» многое говорит и о том, как было устроено историческое воображение жителей города, только что обретшего историческое имя Нижний Новгород, в перестроечные 1980-е и постперестроечные 1990-е годы. А именно *историческое* воображение во многом определяло поиски идентичности в ту революционную эпоху, стремившуюся похоронить саму идею революции. Вызванные из прошлого и помещенные в новый контекст, туманные по смыслу, но отчетливые стилистически названия, образы и даже целые институты дореволюционной жизни становились важнейшими элементами декора жизни поздне- и постсоветской⁴. Недавние горьковчане, вновь ставшие нижегородцами, с увлечением осваивали «купеческий» стиль, известный им, правда, в основном по хрестоматийным произведениям Максима Горького и их советским экранизациям. Но прежде, чем остановиться на этой завороченности наследием поподробнее, необходимо сделать небольшое отступление общетеоретического характера.

За 35 лет, прошедших с начала перестройки, о ее идеологических парадоксах написано немало. Действительно, начавшаяся как возвращение к подлинно ленинским принципам социалистического хозяйствования, она завершилась распадом Советского Союза и переходом к рыночному капитализму. Программа «ускорения», объявленная Горбачевым в 1985 году

3 Там же.

4 Интересно, что историческая референция и у самого Гаспарова оказывается не совсем точной. Во всяком случае во всех просмотренных мною краеведческих работах утверждается, что на первом этаже доходного дома купца Егора Пальцева (построен в 1875–1879 годах по проекту архитектора Кострюкова), где во время посещения Гаспаровым Нижнего Новгорода находилось кафе «Лыкова Дамба», до революции располагалось не одноименное заведение, а ресторан «Савой». Лыкова Дамба – это название улицы, на пересечении которой с Большой Покровской и стоит дом Пальцева. Название действительно историческое – это патроним: улица названа в честь боярина Бориса Лыкова (1576–1646), построившего через овраг мост, который позволил связать Верхний посад и «започаинские городские земли». Значительно позже – уже в XIX веке – там была сооружена дамба, названная Лыковой (см.: Орельская О., Петряев С. *Улица Большая Покровская: прогулки во времени*. Нижний Новгород: Бегемот, 2017. С. 123–124). Но эта ошибка информантов Гаспарова (или его самого) лишний раз доказывает его правоту в главном: стилистическая аура старины компенсирует туманность исторического смысла.

на апрельском пленуме ЦК КПСС, оказалась пророческой в совершенно не запланированном ее разработчиками смысле: реформа советской системы в какой-то момент вышла из-под контроля и стала ускоренно двигаться по собственной траектории, разрушив в итоге саму реформируемую систему. Любопытно, что это «ускоренное движение» символически было движением назад, во все более отдаленное прошлое. Катерина Кларк, много писавшая о всеобщей перестроечной одержимости историей и памятью⁵, справедливо заметила, что интеллигентские споры того времени – это споры о том, когда именно «все пошло не так»⁶. И по мере того, как гласность набирала обороты, отодвигался глубже в историю и момент *падения*: сталинские репрессии 1937 года, сворачивание НЭПа и начало насильственной коллективизации села в 1929-м, арест фракции левых эсеров на V Всероссийском съезде Советов в 1918-м – точка невозврата опускалась все ниже по хронологической шкале, пока, наконец, роковым для страны событием не была признана сама октябрьская революция, именовавшаяся отныне большевистским переворотом. Идеалом революционной мобилизации конца 1980-х – начала 1990-х оказалась дореволюционная империя, «Россия 1913 года».

Конечно, почти все известные революции – может быть, за исключением как раз октябрьской, всячески подчеркивавшей радикальную новизну открываемых ею перспектив, – находили для себя образцы в более или менее далекой истории: французские революционеры в 1789 году ориентировались на республиканский Рим, а в 1830-м – на французских революционеров 1789-го. Однако в каждой из этих революций был некий – несводимый к эффекту повторения – утопический избыток. Революционные же события в СССР рубежа 1980–1990-х были принципиально другими: любая утопия бралась под подозрение, поскольку слишком быстро превращалась в антиутопию. Вообще современный проективный оптимизм, пафос нового («мы наш, мы новый мир построим»), ставка на социальное творчество сменяются здесь постмодерной скептической иронией, реставрацией культурного наследия и апологией нормальности: семидесятилетний эксперимент закончен, и мы возвращаемся к нормальной жизни, «как в нормальных странах». По остроумному и аналитически точному определению Артемия Магуна, перестройка – это наша консервативная революция. Речь не идет об аналогии с немецким интеллектуальным дви-

5 О том, что эта одержимость была всеобщей, характерной для всех идеологических полюсов, красноречиво говорит тот факт, что две общественные организации («общества»), находившиеся на противоположных концах политического спектра, назывались «Память» и «Мемориал».

6 См.: CLARK K. *Changing Historical Paradigms in Soviet Culture* // LAHUSEN T., KUPERMAN G. (Eds.). *Late Soviet Culture: From Perestroika to Novostroika*. Durham: Duke University Press, 1993. P. 289–306.



жением 1920–1930-х, находившимся в крайне двусмысленных отношениях с набиравшим силу нацизмом, хотя Магун и проводит отдельные параллели с ситуацией в Веймарской Германии⁷. Нет, выражение «консервативная революция» понимается у него буквально – по степени радикальности общественная трансформация была по-настоящему революционной, но господствующей идеологией этой трансформации был (нео)либеральный консерватизм. И предпосылки для него сложились в интеллигентской культуре еще в 1970–1980-е.

В своей статье Магун напомнил об одной работе, очень важной для понимания позднесоветской интеллектуальной истории. Этот – во многом программный для андерграундной интеллигенции – текст под названием «Молния и радуга» был опубликован в 1985 году соредактором ленинградского самиздатовского журнала «Часы» Борисом Останиным и краеведом, историком Петербурга Александром Кобаком. Внешний взгляд Катерины Кларк подтверждается здесь взглядом сугубо внутренним: главный герой начинающейся эпохи перемен – это интеллигент-подвижник, носитель культурной памяти. Останин и Кобак писали о нем так:

«Воля и воображение, питавшие в 1960-х героический субъективизм, уступают в 1970-х место разуму и консолидации, а в 1980-х – исторической памяти. [...] Труженика 1980-х годов мало интересует личная судьба: он переносит интерес с нее на документы, свидетельствующие о судьбах чужих, на памятование умерших. Его смирение и самоуничижение, предание себя чужому прошлому близко к христианскому мироощущению; [...] небывалой популярностью пользуется исторический роман (В. Пиккуль, Б. Окуджава, О. Чиладзе); вполне в духе времени и творческая эволюция Солженицына: от художественной литературы через публицистику к историческому исследованию»⁸.

В общем, главным средством преодоления застоя стал консерватизм – причем не только на уровне содержания предлагаемых программ, но и на уровне стиля. В 1927 году немецкий социолог Карл Маннгейм написал небольшую, но до сих пор очень влиятельную работу «Консервативная мысль»⁹, в кото-

7 Так, в финале статьи, призывая интеллектуально проработать тот «бессознательный консерватизм», который со времен позднего «застоя» характерен для большинства российской либеральной интеллигенции, он пишет: «Противоречия остаются бессознательными и поэтому могут проявиться в эксцессивной форме. *Симптомом* консервативно-либерального общества в ситуации, когда очередные попытки “либеральной” реформы в руках консерваторов потерпят крах, может, не дай Бог, стать *настоящая* консервативная революция – то есть фашистское движение, которое постарается предъявить либералам их скрытую повестку дня» (МАГУН А. *Перестройка как консервативная революция?* // Неприкосновенный запас. 2010. 6(74) (<https://magazines.gorky.media/nz/2010/6/perestrojka-kak-konservativnaya-revoljucziya.html>)).

8 Останин Б., Кобак А. *Молния и радуга. Пути культуры 1960–1980-х годов* // *Молния и радуга*. СПб.: Издательство имени Н. Новикова, 2003. С. 21, 25.

9 Рус. перев.: МАННГЕЙМ К. *Диагноз нашего времени*. М.: Юрист, 1994. С. 601–614.

рой показывает, что консерватизм – при всей его исторической ситуативности и, соответственно, идейном разнообразии (в конце концов, будучи реактивной идеологией, он может консервировать любое *status quo*) – обладает определенным стилевым единством. Ключевыми чертами этого стиля являются антитеоретичность, недоверие к рациональным схемам, пафос единичного и конкретного и, что для нас здесь особенно важно, ставка на естественное течение жизни, «мудрость вещей», постепенную эволюцию. Консерватизм совсем не против перемен, он отдает должное истории. Но эти перемены должны быть органичными, отвечающими некоей внутренней природе – человека, общества и самого мира в целом.

Размышлениями о естественном пути развития и противостественных идеологиях, ставящих себе задачу насильственного изменения природы во всех смыслах этого слова, наполнены многие страницы передовой перестроечной публицистики. Однако самое время прервать затянувшиеся общие рассуждения и вернуться к нижегородскому материалу, чтобы на его примере подробнее рассмотреть случай странного *революционного консерватизма*¹⁰, тщательно прятавшего свою революционную составляющую за риторикой возвращения, возрождения и восстановления.

Наиболее яркий пример такого восстановления – переименование города: указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 октября 1990 года Горький опять превратился в Нижний Новгород. Этому указу предшествовала драматичная борьба горьковской интеллигенции за право стать интеллигенцией нижегородской. В этой борьбе ее активно поддерживал Советский фонд культуры и его глава академик Дмитрий Лихачев, лично приезжавший в Горький еще в мае 1987 года. Вообще роль в перестроечной культурной политике и самого Фонда, и созданного при нем научно-общественного совета по топонимии, и, наконец, журнала «Наше наследие», учрежденного Фондом в 1988 году, сложно переоценить. В статье с симптоматичным названием «Память преодолевает время», открывающей первый номер «Нашего наследия», Лихачев намечает масштабную программу деятельности Фонда культуры. Его главная задача – «собирать, осваивать, сохранять»¹¹. Причем собирать, осваивать и сохранять практически все. Здесь и защита языка от деградации, и забота о воспитании вкуса у молодежи, и сохранение чудес природы (шестигранные пчелиные

10 Определение Артемия Магуна. Возвращаясь в одном из примечаний к сравнению немецкой и российской консервативной революции, он замечает: «[Движение в Веймарской Германии] было попросту более революционным и поэтому более идеологически сознательным. [...] Наверное, российский настрой, по контрасту с немецким, можно назвать "революционным консерватизмом"» (МАГУН А. *Указ. соч.*).

11 Лихачев Д. *Память преодолевает время* // Наше наследие. 1988. № 1 (www.nasledie-rus.ru/podshivka/10801.php).



соты, коралловые рифы, прекрасные пейзажи), которые тоже являются частью культурного пространства. Отдельно Лихачев пишет о краеведении и о сохранении городов – «больших и малых, их лица, их души, их своеобразия»¹². Так что совсем не удивительно, что «в ноябре 1987 года прошла учредительная конференция Горьковского отделения Советского фонда культуры, который стал штабом борьбы за возвращение городу названия Нижний Новгород»¹³. Препятствия, чинимые советскими бюрократами, ссылавшимися на дороговизну переименования, были успешно преодолены, и через три года город Горький исчез с карты.

Здесь я тоже позволю себе небольшой мемуар. В середине 1990-х один мой приятель поступал в аспирантуру МГУ. На время приемных экзаменов его поселили в общежитие, в комнату, где уже был один жилец – аспирант то ли второго, то ли третьего года. Знакомясь, мой друг сказал, что он приехал из Нижнего Новгорода. «О! Замечательно, – ответил его возможный будущий сосед. – Как же я люблю эти маленькие старинные волжские городки!»

Действительно, имя «Нижний Новгород» для человека стороннего совершенно не ассоциировалось с крупным промышленным центром. ГАЗ, оборонные предприятия, секретные НИИ, работающие на атомный проект конструкторские бюро – это все закрытый для иностранцев советский Горький. Нижний Новгород же – вновь простонародно-провинциальный купеческий образ, что-то, отсылающее к той эпохе, когда пробуждающаяся энергия русского капитализма сочеталась с уютной патриархальной повседневностью, особенно притягательной, если фантазировать о ней, сидя в типовой – безликой – советской хрущевке. Конечно, в произведениях школьного литературного канона купцы и купчихи рисовались, как правило, самыми черными красками – «темное царство» властных и жестоких самодуров, стремившихся погубить каждый едва забрезживший «луч света». Однако именно в позднесоветской и особенно перестроечной культуре сложился особый тип чтения, который помогал приспособить даже критический реализм русских классиков для ревизионистских фантазий о том, как было до революции. Эта интерпретационная стратегия предполагала инверсию фигуры и фона. Фигура – будущий(-ая) революционер(-ка), мятущаяся натура, которой не хватает воздуха в затхлой провинциальной атмосфере, – совершенно перестает интересовать читателя. Отделавшись школьным сочинением на тему «Образ Катерины в драме А.Н. Островского “Троза”», он все

12 Там же.

13 Селезнев Ф. *История Нижнего Новгорода*. Нижний Новгород: БегемотНН, 2020. С. 397. Здесь же изложены основные перипетии борьбы за переименование.

свое внимание уделяет как раз фону – и вот уже в подробностях рассмотренное «темное царство» кажется не таким темным.

Любопытно, что подобный тип чтения распространялся и на биографии реальных революционеров. Поскольку большинство из них были выходцами далеко не из рабочей (и уж тем более – не из крестьянской) среды, материальные условия жизни семей, в которых они росли, заметно отличались в лучшую сторону от среднесоветских. Во всяком случае советским людям так казалось. Даже экскурсии по скромному дому в Ульяновске, где рос будущий основатель советского государства, проходили обычно под сдержанный шепоток посетителей: «А что? Неплохо, в общем-то, жили». Я прекрасно помню, как в детстве меня завораживала реконструкция не только буржуазной квартиры в горьковском краеведческом музее – типичная беньяминовская «шкатулка», – но и комнаты рабочего, на фоне советских «стенок» и «горок» казавшаяся довольно уютной. Даже собственно революционная деятельность привлекала теперь не романтикой подпольной борьбы, а заграничными – пусть и вынужденными – вояжами и спорами в парижских (цюрихских, мюнхенских, лондонских) кафе.

Инерция такого чтения оказалась настолько мощной, что даже молодые нижегородские художники, родившиеся в начале 1990-х, до сих пор практикуют его в своих работах. Так, например, осенью 2017-го – в год столетия октябрьской революции – Артем Филатов и его соратники по современному искусству сделали довольно необычную выставку под названием «Обратно домой». Они взяли в аренду обветшавшее деревянное здание, построенное в середине XIX века, в котором в 1900 году, остановившись на квартире революционерок, сестер Невзоровых, Ленин обсуждал с местными марксистами издание «Искры». В 1967 году в этой квартире был открыт музей, рассказывавший об истории нижегородского революционного движения, а в 1993-м он превратился в Музей интеллигенции. Акцент здесь теперь ставился не на революционное содержание, а на буржуазную форму: мебель, посуду, аксессуары домашней обстановки – в общем, на быт дореволюционного среднего класса: «Воссозданная обстановка разночинного интеллигента среднего достатка ощущалась гостями музея как домашняя, близкая»¹⁴. Получив здание в свое распоряжение (Музей интеллигенции к тому времени уже переехал в другое помещение), художники довели начатую в 1993 году конверсию музея до логического конца: из узла подпольной революционной сети он превратился в Дом с большой буквы со всеми его метафизическими коннотациями:

14 Филатов А. «Обратно домой». Путеводитель по выставке в бывшем Музее интеллигенции в Нижнем Новгороде (<https://artguide.com/posts/1333>).



ИГОРЬ КОБЫЛИН

ВОЗВРАЩЕНИЕ НИЖНЕГО
НОВГОРОДА...

«Деревянное здание двухэтажной городской усадьбы представляет из себя [так в тексте. – И. К.] образ традиционного дома. Становясь границей между личным и публичным, дом как убежище является пространством повседневности, конструирующим через профанную реальность те сокровенные явления и объекты, которые разделяются человеком сакральным смыслом. [...] С размыванием этого понятия человек рискует оказаться бездомным, в один день найдя себя “в диком поле, где и колышка для палатки не найти”»¹⁵.

Тут, как мы видим, фон, место в буквальном смысле становятся главными героями философского повествования, отчасти вдохновленного, кстати, немецкими консервативными революционерами – в кураторской статье каталога цитируются то Освальд Шпенглер, то Мартин Хайдеггер.



Илл. 1. Приватизация Нижегородской области. Чековые аукционы. Афиша на Нижегородской ярмарке, 1992 год. Фотография Николая Мошкова.

В общем, возвращенное историческое имя оказалось окутано плотной сетью культурных ассоциаций, ностальгических грез и реставрационных фантазий – часто имевших весьма отдаленное отношение к реальной истории (которая, возможно, тоже греза – только теперь ученого-историка), но от этого не менее символически действенных. Учитывая давнюю и очень мощную метафизическую традицию, сложившуюся вокруг имени в европейской и русской культуре, можно сказать, что акт переименования обладал перформативной силой: он закреплял в реальности то странное смешение времен, в которое по-

15 «Обратно домой». Каталог. Нижний Новгород, 2017. С. 18.

пала страна в начале 1990-х. Бывший председатель комитета по управлению госимуществом Нижегородской области Станислав Антюганов так, например, вспоминал о начале чековой приватизации в городе: «Ситуация вокруг ваучеров напомнила мне фильмы про революцию. Помните – Смольный, множество людей, и все деловито двигаются, куда-то спешат, такие занятые и озабоченные»¹⁶. Контрреволюционеры, стремившиеся создать новый класс собственников, невольно подражали революционерам, которые семьдесят с лишним лет назад хотели его уничтожить. И все это происходит в Нижнем Новгороде, хотя и Горький никуда не делся – вставшая в отсутствие госзаказа крупная промышленность мрачным фоном оттеняла выставки возрожденной ярмарки, которую с дружественным визитом посещали то Маргарет Тэтчер, то потомки последнего русского царя, приезжавшие, чтобы торжественно объявить компанию «Pierre Smirnoff» официальным «поставщиком Императорского дома». Конечно, всякая современность не равна самой себе – в ней всегда есть место анахронизмам, пережиткам, одновременности неодновременного. Но модная сегодня в теории истории синхронная множественность времен, пожалуй, никогда не была так очевидна, как в новорусские 1990-е.

В этом временном водовороте всплывали не только исторические имена городов и улиц. Неожиданным образом на поверхности появлялись самые разные «обломки прошлого», получавшие прописку в «столице реформ». Так в конце 1991 года в Нижнем Новгороде вновь появился губернатор – спустя почти 75 лет после того, как местный Совет вынес решение об аресте его последнего дореволюционного предшественника – Алексея Гирса. 30 ноября Борис Ельцин назначил Бориса Немцова главой администрации Нижегородской области. Однако назначенца не устроило именование его должности. Сам Немцов позже вспоминал:

«Называлась моя должность – глава администрации Нижегородской области. Меня ужасно раздражала длиннота и бессмысленность (администрации тогда как таковой еще не было) этого названия. И мы на пару с Крестьяниновым решили вернуть историческое название должности. Решение облсовета выглядело примерно так: “Именован главу администрации Нижегородской области губернатором”. Ельцин так возмутился! “Вот – губернаторы, мэры, пэры, сэры... Придумали царский символ!” Но мало-помалу, поскольку так удобно, исторически оправданно, звучит лучше, это стало общероссийской практикой. Но Нижний – первым»¹⁷.

16 Антюганов С. *Мы были первопроходцами разгосударствления // Как мы открывали город. Эпоха 90-х глазами нижегородцев*. Нижний Новгород: Книги, 2009. С. 117.

17 Немцов Б. *Как я стал губернатором* (https://nemtsov-most.org/2016/06/02/from-the-book_as-we-opened-city_part-ii/).



Даже в этом небольшом фрагменте хорошо заметна характерная для эпохи странная амальгама новой начинательности и исторической оправданности. Вообще губернаторство Бориса Немцова – пожалуй, наиболее яркий пример революционного консерватизма 1990-х. Тут и радикальный экономический тэтчеризм¹⁸, и восстановление православных храмов¹⁹, и борьба с консервативными «красными директорами», и революционно-консервативная ставка на *дореволюционные* традиции. О последней бывший помощник Немцова – Александр Котюсов – говорит так:

«Утверждение “Нижний Новгород – карман России” было одним из брендов, которые тогда пиарил Немцов. А что еще было пиарить? Из советского прошлого Немцову достался Сахаров и закрытый город Горький с “довеском” в виде Арзамаса-16, где делали атомную бомбу. [...] Советский Горький вызывал страх. Царская Россия вызывала доверие. [...] Там рубль был золотой»²⁰.

Анализ реальных политических и экономических итогов деятельности Бориса Немцова в Нижегородской области – тема отдельного разговора. Нас здесь интересует скорее идеология эпохи, идеология в том смысле, который придавал этому понятию Луи Альтюссер, то есть некое коллективное воображаемое, посредством которого люди проживают реальные условия собственного существования. Потому кратко остановимся на одном тексте, написанном Немцовым уже после завершения его карьеры крупного чиновника. Речь идет о книге «Провинциал в Москве» (1999). Это разножанровое произведение, сочетающее «афоризмы житейской мудрости» (особенно в первой главе), пространные рассуждения на общеполитические темы и любопытные воспоминания о различных эпизодах пребывания автора во власти. Меня в основном будут интересовать именно общие рассуждения – не потому, что они особенно глубоки и оригинальны (конкретные воспоминания в этом отношении дают фору всему остальному тексту), а потому что они как раз предельно идеологичны в указанном значении. Здесь бывший нижегородский губернатор в очередной раз формулирует то, что в разном виде – от рефлексивного понимания до полубес-

18 О Тэтчер Немцов в своих мемуарах пишет так: «Шанс стать главой государства в России у Тэтчер сейчас больше, чем в собственной стране. Вообще, по-моему, такая персона, как Тэтчер, нужна России. Знающая, что делать, знающая, как делать, очень патриотически настроенная и достаточно лояльная к внешнему миру» (Немцов Б. *Провинциал в Москве*. М.: Вагриус, 1999. С. 94).

19 Будучи губернатором, Немцов запустил специальную программу «Дороги и храмы» (в названии явный намек на популярную в годы перестройки фразу из фильма «Покаяние» Тенгиза Абуладзе «К чему дорога, если она не приводит к храму?»). В рамках этой программы были построены и восстановлены около 150 православных храмов и монастырей. По итогам Немцов был награжден орденом Святого Даниила Московского I степени. Орден вручал Патриарх Московский и Всея Руси Алексей II.

20 Котюсов А. *Трудно представить, что было бы с областью // Как мы открывали город...* С. 143–144.

сознательного ощущения – разделялось многими советскими и постсоветскими людьми (включая и пишущего эти строки) 25 лет назад. Эти рассуждения можно назвать общими не только в силу их некоторой абстрактности, но и в том смысле, что они принадлежат не конкретному автору книги, но *всем*. Это *Zeitgeist*, но – что для нас важно – выраженный человеком, во многом определявшим политику этого *zeit'a* в огромном регионе.

В своих размышлениях о политике и экономике Немцов исходит из антитезы естественного и противоестественного. Физик в прошлом, он пишет, что определяющее влияние на его мировоззрение оказала «школа естественных наук»²¹. Именно эта школа научила его считаться с «очевидными законами природы независимо от того, в какой сфере эти законы проявляются: физика, социология или что-то другое»²². Как несложно заметить, фюзис здесь понимается чрезвычайно широко – нет никакой особой разницы между природой и историей. И там, и там действуют схожие законы, и наша задача заключается в том, чтобы согласовать свои усилия с общим естественным ходом вещей. Интересно, что в политике Немцов начинал как эколог – он был одним из тех, кто во второй половине 1980-х боролся против строительства горьковской атомной станции теплоснабжения. Защита природы в узком смысле этого слова от возможных последствий технологического вмешательства как бы стала со временем защитой природы в предельно широком смысле от последствий вмешательств идеологических. Конечно, естественный вариант развития все равно пробьет себе дорогу, но лучше сразу постараться избежать тех окольных путей, которыми страна бродила до сих пор.

Ссылка на природу (равно как и на эквивалентный ей неотвратимый ход истории) является частым аргументом Немцова в заочной полемике с коммунистами. Так, например, критикуя коммунистическую идею всеобщего равенства как предельно искусственную, он пишет: «В живой природе равенства нет»²³. Коммунистическому усредняющему равенству Немцов противопоставляет равноправие как равенство исключительно стартовых возможностей. При этом государство все-таки должно сдерживать эгоистические интересы экономических хищников – естественность имеет свои пределы, но остается базовой моделью. Даже революции можно классифицировать по признаку естественности. Буржуазные революции, которые лишь расширяют пространство экономической свободы, не покушались на частную собственность, «не были очень кровавыми»²⁴.

21 Немцов Б. *Провинциал в Москве*. С. 52.

22 Там же.

23 Там же. С. 53.

24 Там же. С. 54.



Следуя естественной логике вещей, они не встречали особого сопротивления. Зато противоестественные революции, навязывавшие искусственное равенство, вызвали естественный протест и в итоге приводили к чудовищным потрясениям. В качестве примера Немцов приводит крестьянские бунты против коллективизации и раскулачивания. По контрасту с советским обобществлением собственная земельная реформа описывается им как соответствующая природе:

«Ни одного крестьянского восстания по всей России нет. Просто потому, что то, что происходит сейчас, гораздо более естественно для людей, чем когда насаждали равенство в нищете»²⁵.

Однако в этих гимнах всеобщему органическому фюзису можно заметить моменты, когда маннгеймовский консервативный стиль постсоветского либерализма являет свою революционную составляющую. Так, продолжая сравнение своей земельной реформы с большевистской политикой в отношении крестьянства, Немцов подчеркивает, что сегодня крестьяне могут менять форму собственности на землю на добровольных началах. И тут же добавляет: «Но, если бы их насильно заставляли взять землю в собственность, это не привело бы к восстаниям и бунтам»²⁶. С одной стороны, здесь в очередной раз подчеркивается, что реформа направлена на восстановление естественного порядка вещей: даже некоторое подталкивающее насилие не вызвало бы сопротивления – и не в силу трусости, а потому что нельзя сопротивляться собственной природе. Но, с другой, это подталкивание, пусть и чисто гипотетически, легитимируется от имени той же самой природы. Чтобы окончательно с ней синхронизироваться, необходимо преодолеть не только инерцию советского прошлого, но и более глубоко укорененные в национальной истории препятствия. В «Провинциале...» довольно много ориенталистских рассуждений об азиатской составляющей русской культуры – ну, и, соответственно, о восточном деспотизме, все время отбрасывающем нас назад. Отсюда и желание немножко природе помочь:

«Либерализм для России гораздо более целебное лекарство, чем доведенное до абсурда государственничество. Причем наиболее эффективно [так в тексте. – И.К.], когда либерализм достигается не либеральными методами (вспомним хотя бы Петра Великого и Столыпина)»²⁷.

25 Там же. С. 55.

26 Там же.

27 Там же. С. 67. Во второй части книги, где Немцов подробно описывает московскую часть своей политической биографии, консервативный радикализм явно нарастает. Так он пишет, например, о генерале Пиночете: «Уважаю его за то, что он защищал своих “чикагских мальчиков” от нападков. И они выстроили замечательную экономическую систему. Высокоэффективную, без олигархов и без льготников. С самым низким

Вновь мы сталкиваемся с политической гомеопатией: застой лечится консерватизмом, а деспотизм – нелиберальными методами введенным либерализмом.

Мотив векового азиатского деспотизма, тоже довольно популярный в тогдашней демократической среде, сигнализирует, что и к дореволюционной истории следует подходить избирательно. Маневрируя между недавней советчиной и давней азиатчиной, в прошлом нужно было выбрать нечто такое, что по аналогии с безусловно хорошими словами/понятиями было бы безусловно хорошими вещами. Одной из таких вещей была Нижегородская ярмарка – судя по фотоколлажам 1946 года, сделанным к 725-летию Горького / Нижнего Новгорода, даже в эпоху зрелого сталинизма на волне послевоенного патриотического подъема юбилей города отмечали ярмаркой с «народными забавами» и прочими атрибутами ярмарочного веселья. Планы же полномасштабного возрождения Нижегородской ярмарки разрабатывались в конце 1980-х в советском Госснабе. Вернее, речь как раз не шла о возрождении в том смысле, в каком об этом стали говорить позже. Как вспоминал сотрудник центрального аппарата Волговятглавснаба Андрей Ремаев, идея заключалась в том, что определенную долю ресурсов можно было бы попробовать выпустить на свободный рынок. Каждый локальный главснаб должен был предложить свой вариант специального предприятия, которое занялось бы этим делом. Как подчеркивает Ремаев, никакой особой идеологии поначалу в этом проекте не было. Вскоре созданный Горьковский коммерческий центр предложил несколько инициатив «воплощения в жизнь рыночных механизмов и создания предприятий, нацеленных на рыночную экономику»²⁸. Одной из таких инициатив и была Нижегородская ярмарка, довольно быстро, впрочем, обросшая идеологическими месседжами, которые стали чуть ли не важнее экономической функции. Более того, по мнению некоторых участников процесса, формирующаяся по ходу дела идеология и определяла экономическую реальность:

«Ярмарка сначала не была рыночным инструментом; рынка еще не было. [...] Это просто была идея. Мол, купцы раньше так делали, и мы так сделаем. Игра. Но с каким же удовольствием все в нее играли»²⁹.

в Латинской Америке уровнем коррупции. И еще чем уникален Пиночет: он сам отказался от власти» (Там же. С. 196). Правда, согласно Немцову, в России этот опыт невоспроизводим: российские генералы и в экономике ничего не понимают, и от власти добровольно вряд ли откажутся.

28 РЕМАЕВ А. *Любителей было больше, но победили профессионалы // Как мы открывали город...* С. 322.

29 ЦЫБАНЕВ В. *Сломить эту силу было трудно // Как мы открывали город...* С. 37.



ИГОРЬ КОБЫЛИН

ВОЗВРАЩЕНИЕ НИЖНЕГО
НОВГОРОДА...

Илл. 2. Открытие международной выставки «Вооружение. Военная техника. Конверсия» на Нижегородской ярмарке. Театрализованное представление, сентябрь 1993 года. Фотография Романа Яровицына.



В отличие от старой, дореволюционной, обновленная ярмарка была преимущественно выставочным проектом. И экспонировала она не только медицинское оборудование или современное оружие, но и свою символическую связь с русскими предпринимателями конца XIX – начала XX века, с «Россией, которую мы потеряли», но, видимо, обрели вновь. Российский капитализм как бы возвращался к своим национальным корням, воплощая утопию исторической преемственности. Капитал, который, по определению из «Манифеста» Маркса и Энгельса, оскверняет «все священное», топит в «ледяной воде эгоистического расчета» всякую сентиментальность, заставляет исчезнуть все «застойное» и «сословное», не может обойтись без маскарада. Он вновь примеряет исторические костюмы, разыгрывая на этот раз масштабное представление из дореволюционной жизни, возрождая попутно и все сословное:

«В один миг все вдруг стали графы. У Володи [генерального директора ярмарки Владимира Бессараба. – И. К.] тоже тогда появилась дворянская грамота. Он мне показывал»³⁰.

Любопытно, что постсоветский бизнес подражал подражателям: знаменитая Всероссийская художественно-промышленная выставка 1896 года, столетний юбилей которой использовался руководством ярмарки для ее продвижения в Москве, тоже была не просто выставкой хозяйственных достижений. Ее можно рассматривать и как смотр буржуазного класса, причем смотр в прямом смысле: императора Николая II, прибывшего на выставку, встречала целая делегация представителей молодого поколения крупнейших купеческих семей. И здесь

30 Старостина А. *Все крутилось вокруг ярмарки* // Там же. С. 273.

тоже не обошлось без исторического спектакля – купеческая молодежь нарядилась рындами XVIII века, выказывая, вероятно, верность национальным традициям³¹. Своего рода символическим апофеозом зеркального мимесиса был прием, устроенный летом 1996 года губернатором и мэром в честь приезда на ярмарку семьи великого князя Владимира Романова:

ИГОРЬ КОБЫЛИН
ВОЗВРАЩЕНИЕ НИЖНЕГО
НОВГОРОДА...

«Столы были поставлены буквой П наверху в галерее. То, что стояло в тот вечер на столах, многие присутствовавшие, что называется, живую видели только в исторических фильмах. Не знаю, где организаторы взяли настоящего осетра, но осетр был настоящий! – и красовался он в центре стола, за который были посажены царственные особы. [...] Здесь и там красовались на блюдах фаршированные поросята. Нас, низших чинов и занимавшихся организацией встречи “силовиков”, посадили с краю буквы П. Но даже на нашем скромном столе стояли внушительных размеров конфетницы (не креманки, а именно огромные хрустальные емкости), наполненные одна черной, а другая – красной икрой. [...] Роскошь и избыточность были почти неправдоподобными. Хоть и говорят, что секретари райкомов, горкомов и обкомов партии при советской власти прекрасно жили, – таких чудес, которые были в тот вечер на столе, я уверена, им не приходилось даже видеть, не только пробовать»³².



Илл. 3. Торговые ряды
Центрального рынка,
10 декабря 1998 года.
Фотография Романа
Яровицына.

Эпизод действительно показательный. Принимающая сторона инсценировала свои, сформированные кинематографом, представления, каким должен быть настоящий царский стол, а гости, не избалованные, как пишет мемуаристка, «ни роскошью, ни общественным вниманием», старательно демонстрировали

31 Подробнее о разных режимах исторической политики в Нижнем Новгороде 1990–2000-х см. в: Кобылин И. «Легкая монументальность в современном стиле»: нижегородские фантазмагории историческо-го «наследия» // Неприкосновенный запас. 2017. № 2(112). С. 187–205.

32 Кузнецова Н. Царскую семью встретили по-царски // Как мы открывали город... С. 416.



породу и играли в особ императорской фамилии. Впрочем, с особым усердием играли в элиту даже не Романовы, а сопровождавшие их новоиспеченные дворяне из Москвы и Санкт-Петербурга.

Наконец, завершая этот далеко не полный обзор ретроспективных надежд эпохи транзита от Горького к Нижнему Новгороду, нельзя не упомянуть еще одно явление, на первый взгляд идеально вписывающееся в общий консервативно-реставрационный тренд. Речь идет о так называемой Нижегородской архитектурной школе. В середине 1990-х ведущие критики говорили о Нижнем Новгороде как о чуть ли не самом интересном в архитектурном отношении месте в России. Так, например, голландский архитектор и архитектурный критик, издатель журнала «Проект Россия» Барт Голдхоорн писал:

«Город стал архитектурной столицей страны. Впечатляет не только количество новых зданий, построенных в центре города, – их архитектура отличается таким качеством, которое для сегодняшней России – редкость»³³.

Ему вторит Григорий Ревзин:

«Нынешняя ситуация с Нижним исторически уникальна – на сегодняшний день это единственная школа русской архитектуры, которая может занять место в спектре мировых явлений архитектуры 90-х»³⁴.

Спустя двадцать лет наследие школы и ее лидера Александра Харитонова, трагически погибшего в 1999 году, оценивается столь же высоко³⁵. Символическая значимость культурного вклада, внесенного школой, несомненна, да и его идеологическая интенция вроде бы понятна. В целом ее тоже можно описать как консервативную. В архитектуре путь от Горького к Нижнему – это путь от типовой застройки к уникальным объектам, от бездумной интервенции в пространство исторического центра к контекстуализму и бережному отношению к уцелевшему архитектурному наследию, от госбюджетов к частному капиталу – который, правда, по словам самого Харитонова, еще «воспитывать надо»³⁶. Если сформулировать

33 Голдхоорн Б. *Вкусно! Новая архитектура Нижнего Новгорода* // Проект Россия. 1996. № 4 (<http://art.nnov.ru/archoteca/publications.php?id=14>).

34 Ревзин Г. *Зависть* // Независимая газета. 1996. 3 декабря (<http://art.nnov.ru/archoteca/publications.php?id=11>).

35 См. «круглый стол», посвященный школе, на фестивале «Вазари» в 2016 году: www.youtube.com/watch?v=utBIQFz6yzM (часть 1); www.youtube.com/watch?v=zIq0YdIaP-c (часть 2); стенограмма обсуждения опубликована в: *20 лет нижегородской архитектурной школе // Альманах фестиваля текстов об искусстве «Вазари»*. Нижний Новгород: Издательство «Покровка, 7», 2017. С. 171–192.

36 *Главные архитекторы: мемуары четырех и интервью с пятым* (<https://prorus.ru/interviews/Glavnyeh-arhitektory/>).

совсем коротко, то архитектурную «перестройку» можно представить как рождение локальной постмодернистской традиции в духе Чарлза Дженкса: инерционный позднесоветский модернизм сменился затейливыми стилизациями дореволюционного ар-нуво Федора Шехтеля и Владимира Покровского. И, конечно, эти стилизации отвечали тогдашним коллективным историческим грезам на тему вновь обретенной нижегородскости. На «круглом столе», посвященном двадцатилетнему юбилею школы, архитектор из Новосибирска Александр Ложкин точно отметил ретроспективную бриколажность ее объектов: «Это абсолютно нижегородские здания с какой-то “игрушечностью”, “армарочностью”, которая присуща вообще всей нижегородской архитектуре, в частности – кремлю»³⁷. И, наверное, прав социолог и художник Андрей Амиров, который на том же обсуждении назвал архитектуру 1990-х «нижегородским бидермейером»: тонко имитирующая изысканный модерн снаружи, она пестовала интимность частной жизни внутри. Среди прочего Амиров обратил внимание на говорящую деталь – во многих домах, построенных в 1990-е, почтовые ящики располагаются не в подъезде, а на улице: никто, даже почтальон, не должен нарушать окончательно замкнувшееся на себя приватное пространство³⁸.

Однако в нижегородском постмодернизме с самого начала было нечто такое, что плохо укладывается в эту гладкую – слишком гладкую – схему. Я сошлюсь здесь на проницательную статью Григория Ревзина, который определяет это «нечто» формулой «модерн + авангард»³⁹. Если по необходимости опустить детали искусствоведческой аргументации, то в целом его точку зрения можно представить следующим образом. Архитектура нижегородской школы – Ревзин в основном пишет о проектах Александра Харитоновича и Евгения Пестова⁴⁰ – действительно отсылает к цитатности постмодернизма. Но сама сборка цитат, не скрывающая разрывов между цитируемыми фрагментами прошлого, больше всего напоминает авангардный монтаж. И здесь сказывается именно советско-модернистский бэкграунд Харитоновича–Пестова. Их работы – это не вытеснение на обочину недавней истории ради истории более давней, а своего рода палимпсест, где модернизм Горького и органика Нижнего вступают в драматический диалог. Консерватизм, если тут все еще можно о нем говорить, не просто воз-

37 20 лет нижегородской архитектурной школе. С. 181.

38 Там же. С. 186.

39 Ревзин Г. *Молчащий постмодернизм (= модерн + авангард)* // Проект Россия. 1996. № 4 (<http://art.nnov.ru/archoteca/publications.php?id=16>).

40 Речь в статье идет о целом ряде работ этого тандема – от банка «Гарантия» до проекта летней эстрады на Волжском откосе.



рождение каких-то ушедших форм жизни, а творческий ответ на непростую историческую ситуацию. Взаимодействие Горького и Нижнего осознается архитекторами как *проблема*, которую нужно постараться решить, не закрывая глаза ни на модернистский первый, ни на модерный второй. Это резко контрастирует с царившими тогда фантазиями, что неприглядный «совок» сам собой куда-то испарится, а все мы, став европейским средним классом с дворянскими родословными в кармане, будем жить в уютных неомодерных особняках и непрерывно богатеть, с удовольствием подчиняясь естественной рациональности рынка.

Вальтер Беньямин как-то заметил, что, когда заканчивается эпоха, она распадается не на множество историй, а на множество отдельных образов. Когда закончилась советская эпоха, на отдельные образы распалась и эпоха предыдущая – исчезновение советского исторического нарратива, придававшего всему прошлому цельность подготовительного этапа к коммунистическому триумфу, означало и исчезновение этой цельности. Прошлое освободилось от оков «законов истории», став составляемой по вкусу коллекцией потребляемых образов. Возрастание интереса к истории компенсировалось ослаблением историчности – коллекция не нуждалась в рациональных объяснениях. Отсюда и причудливые конфигурации постсоветского исторического воображения, в которых сочетались плохо сочетаемые вещи. Однако в 1990-е была общая точка отталкивания – советское прошлое, которое, как это ни парадоксально, не давало превратиться историческим видениям в аисторическую неразличимость прошлого, настоящего и будущего. Приняв на себя всю негативность переходной эпохи, оно обеспечивало минимум, необходимый для артикуляции более или менее внятного исторического повествования. С ним можно было не соглашаться и спорить, но сам спор все еще имел смысл. Однако уже в 2000-е советское просто присоединилось к наследию, и история окончательно затопила российское общество, диалектически превратившись в собственную противоположность – капсулу, где как будто бы застыли все времена. Но локальный конец истории – тема уже совершенно другого рассказа. Так же, как и отдельного разговора требует то, чем станет Нижний Новгород после этого локального конца истории.